

Халатов потерял себя.
Он никак не мог
привыкнуть к новой
для него каторге:
ничего не ждать
ОТ ЖИЗНИ. Страница 28

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

Халатов и Лилька

Роман

Анатолий Николаевич Андреев

Халатов и Лилька

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3459635

Минск; 2002

Аннотация

Третий по счету роман, продолжающий «минский цикл». На этот раз роман сделан в жанре иронического детектива (или пародии на детектив) в духе Бориса Акунина. Отсюда – острый сюжет с непредсказуемыми ходами, много действий, диалогов. При этом главная интрига, вопреки ожиданиям, будет связана не с тем, кто кого убил, а с духовными проблемами героя-супермена. Вновь в центре внимания – образ Минска, любовь, смерть, смысл жизни, одиночество.

Сохранена традиция первых романов: сочетание простоты с высшей сложностью. Игровое начало, связанное с парадоксальностью мышления, роднит это произведение со всеми другими произведениями автора.

Содержание

1. У врат ада	4
2. У врат рая	15
3. Еще ближе к аду	20
4. Теперь ближе к раю	31
5. Гектор Соломка приступает к делу	37
6. Лилька, дорогая...	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Анатолий Андреев

Халатов и Лилька Роман

*Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он?*

*Уж не пародия ли он?
Кто знает...*

1. У врат ада

На скамейке, расположение которой позволяло обозреть и камерное благолепие Троицкого предместья, и строгость Свято-Духова кафедрального собора, и надменно господствовавший над местностью католический храм, и современные, утратившие плавность линий силуэты, образующие красоты проспекта Машерова, и злополучный зев станции метро «Немига», где в безумной давке жарким летом погибли десятки молодых людей, – вот на этой ничем до того не примечательной скамейке, развернутой в сторону многочисленных прелестей города Минска, сидели летним великолепным вечером два немолодых уже, но еще весьма и весьма нестарых господина. Скамейка, перед которой простиралась смиренная Свислочь, к тому же находилась по соседству с па-

мятником Пушкину, что явно сказывалось на настроении джентльменов.

– Интересно, что вы читаете? – спросил коренастый и в то же время довольно высокий мужчина, шелестя городской газетой и наблюдая за золотым закатом. – Что можно читать в наше время? Просто любопытствую: что может отвлечь от созерцания всего этого (он широким жестом обозначил панораму) в такой изумительный вечер?

– Я читаю роман, который называется «Для кого восходит Солнце?», – ответил мужчина в очках, явно уступавший в крепости сложения своему нечаянному собеседнику.

– Ну и: стоит Париж обедни? Стоит роман вечера? Могут ли буквы заслонить жизнь?

– Это мой роман, я хочу сказать, я автор. Мне трудно судить, стоит или не стоит. Не стоит, наверное. Во всяком случае, мне за него не стыдно. Но вы ведь тоже заняты не только вечером...

– Я тоже в некотором роде люблю творением рук своих. – Мужчина небрежно щелкнул по сложенной газете, как раз по тому месту, где чернела фотография, и поднял на собеседника сероватые глаза. Сощурился:

– И для кого же восходит солнце?

– А что вы там натворили?

Мужчины рассмеялись, взглядами оценивая друг друга, и коренастый протянул руку писателю:

– Вольдемар.

– Халатов, Владимир Халатов. Мы с вами тезки, кажется.

– Не совсем, не совсем... Так вы хотите знать, что я натворил? – Представившийся Вольдемаром перевел глаза на золоченый крест собора. – Я убил человека, – продолжил он ровным тоном, – и сегодня только об этом пишут и говорят. «Злодейское и бессмысленное убийство». Фотографии вот... Верите?

Халатов без смущения встретил твердый взгляд зеленоватых глаз.

– Готов поверить. А зачем вы убили?

– Вы полагаете, что это естественная реакция на убийство? Вы даже не удивлены? Вам просто любопытно? Вы меня оскорбляете, писатель. Вы, наверно, беллетрист, изготовитель детективов. Папарацци...

– Нет, нет, я удивлен. Я... Просто мне не хочется думать, что вы... Мотив преступления связан с деньгами, с любовью – с чем? Что заставило вас отнять жизнь у другого? Не хочу показаться грубым и назойливым, но мне не хочется плохо думать о вас.

– Мотив преступления, как вы изволили выразиться, связан со смыслом жизни и с моим импульсивным характером. Да, собственно, какая разница? «Не убий» – слышали что-нибудь про это? А я убил.

– И все же мотив важен. Мотив – это человек.

– Убийство – это тоже человек. Ладно, мне пора.

– Зачем вы мне все это рассказали? Хотите, чтобы я на

вас донес?

Коренастый незнакомец криво улыбнулся, и писатель проговорил прежде, чем понял, что он сказал:

– Вы хотите убить себя?

Вольдемар встал и, не спеша и не оборачиваясь, направился в сторону Троицкого предместья. Халатов схватил небрежно брошенную газету и убедился: «Вчера около семи вечера («За сутки до нашей трогательной встречи!», – мелькнуло в голове у писателя) возле кафе «Марианна», расположенном в уютном уголке Троицкого предместья, неизвестным двумя выстрелами в упор был убит гражданин Греции. Убийство всколыхнуло весь город...»

Закат потух, город стал погружаться во тьму, и веселые огни трепетно возгорелись, словно тысячи лампад. Халатов поднялся и тоже зачем-то направился к Троицкому предместью.

На месте преступления он обнаружил плотноватую толпу экскурсантов, сгрудившихся в лицемерном молчании около входа в кафе, – лицемерном, ибо, привлеченные грубым любопытством, они изображали благоговейное молчание и разговаривали шепотом. Вольдемара в толпе обнаружить не удалось.

Поздно вечером в однокомнатной квартире Халатова раздался телефонный звонок. Хозяин небрежно отложил в сторону роман Юкио Мисима «Золотой храм» и не сразу взял трубку.

– Да, да, это Вольдемар. Ну, что вы там увидели?

– Пожалуй, ничего особенного. Люди, цветы. Место, где склоняют головы в скорбном молчании. Уже почти мемориал. Только я почему-то насчитал пять цветов...

– Вы наблюдательны. Правильно, пять. Что вы сейчас делали?

– Читал.

– Свое «Золотое солнце»?

– Нет. Мой роман называется «Для кого восходит Солнце?». В конце вопросительный знак. А я читал «Золотой храм».

– А-а, икебана, харакири... Знаю. Темень японская. Тем лучше. У меня к вам есть предложение. Вы можете от него отказаться – но тогда я убью себя. У вас есть шанс спасти мне жизнь. А может, и себе как писателю. Кто знает? Для этого вам необходимо поступить правильно, вы слышите, коллега? Если у вас получится, вы, полагаю, сумеете разгадать мотивы моего преступления. Но это еще не все. Вы должны суметь разъяснить их мне. А я посмотрю, как вы преуспеете, писатель. Я подумаю.

– Да вы псих, типичный псих...

– А вы положите трубку – оборвите жизнь. Ну?.. Слабо? Писатель, который отказывается от подобного предложения – это не писатель...

Халатов надавил пальцем на рычажок аппарата и резко дернул за шнур, отключая телефон от сети. Потом долго си-

дел на диване, растирая лицо и то и дело проводя ладонью по редкому ежику седых волос. Бессмысленность жестов (когда смотришь на себя со стороны, многие жесты кажутся бессмысленными) не позабавила его. Он не улыбнулся, вопреки обыкновению. Поймал себя на том, что ни за что на свете не сможет улыбнуться. После этого подошел к столику и соединил вилку телефонного провода с розеткой.

Подождал.

Телефон молчал.

Свет в ванной показался ему мертвящим, вкус зубной пасты – тошнотворным, оскаленные ухоженные зубы превращались в деталь черепа.

Пришлось среди ночи вставать, выпить граммов сто водки (снотворного дома не держал, потому что никогда проблем со сном не было). Наутро все равно чувствовал себя разбитым и, черт возьми, как будто виноватым. Хуже всего было то, что он перестал понимать, что с ним происходит.

Через три дня так же поздно, как и в прошлый раз, ближе к полуночи, раздалось как будто узнаваемые уже трели. У Халатова неизвестно почему отлегло от сердца.

– Судя по тому, что я еще жив, вы поступили правильно, бросив трубку, – устало произнес Вольдемар, пожелав доброго вечера.

– Я готов рассмотреть ваше предложение, – неспешно сказал Халатов.

– Не сомневался в этом, – без тени победоносного пре-

восходства констатировал Вольдемар. – Нисколько не сомневался. Вы и сейчас поступаете правильно... Но, как вам сказать... Очень сильными и продуманными поступками вы не производите впечатления человека, ухватившего бога за бороду. Мы с вами играем в жизнь и смерть, а вы продолжаете оставаться очень похожим на обычного человека. Эта игра не для обычных людей, они в ней ничего не понимают.

– Вот что, уважаемый киллер. Я действительно человек обычный. Никаких сакральных манипуляций с вашей кармой, никакой дешевой мистики. Более того, вы мне поднадели. Еще откровеннее: ваша проблема, если только вы не врете, представляется мне обыденной до пошлости. Таких, как вы, копнешь – а там одно дерьмо. Извините за откровенность и за выражение. Как-то неловко оскорблять без пяти минут покойника. Вы письмо-то хоть написали, сдержанное, в семь строчек? Пошло многозначительное, пошло вульгарное или пошло сентиментальное...

– Да, письмо лежит у меня в левом кармане уже три дня. Шесть строчек. Оно, скорее, пошло многозначительное, но ощутима и доля вульгарности; боюсь, я смешал жанры...

– Боюсь, вы не оригинальны. Мне будет неловко – *после того*, вы меня понимаете? – только в том случае, если вы натуральный псих. С больного – какой спрос? Если же вы более-менее вменяемы, меня стошнит от скуки. Имя у вас, кстати, тоже пошрое.

– Да, да, да... Не могу найти достойного обрамления

смерти. Не могу найти тот род красоты, который показывал бы мое презрение к смерти, а еще более к жизни... Настолько бессмысленно умирать, что почти жить хочется.

– Вы пижон, сэр.

– Вот, вот, сейчас дошло. Свой обычностью вы отрезвили меня. Вы удивительно просто дали понять, что в смерти нет ничего исключительного, вы как-то вывернули ее наизнанку, пошлой стороной. Нет, я не пижон. Просто в смерти я искал разгадку жизни. Давно чувствовал, что ошибаюсь, да вот по-ди ж ты...

– Если не пижон, то клоун.

– Увы, батенька...

– Если не комедиант, то дурень трагический. Я вам не могу отплатить комплиментом за комплимент: я не могу назвать вас нормальным человеком, то бишь обычным человеком.

– А вы честолюбивы и самолюбивы, писатель.

– Как всякий нормальный творец.

– Очевидно, несчастны...

– Как всякий нормальный творец. Но я вас разочарую: я, как полное ничтожество, рвусь к счастью. Я не упиваюсь трагизмом и презираю тупики.

– Спокойно, писатель, ближе к делу. Я люблю ее, вам ясно?

– Нет, не ясно. Я не Шерлок Холмс. Даже не Агата Кристи. Май нэйм из Владимир Халатов.

– Я люблю эту ложную блондинку с васильковыми глазами. Что ж тут непонятного?

– Из-за которой вы хлопнули грека?

– Ну да. Вот вам и весь пошлый мотив.

– Это как раз мотив не пошлый, по крайней мере, сегодня.

– Кстати, фамилия Халатов – не отдает пошлостью?

– Вольдемар значительно хуже.

– О вкусах не спорят. Я и ее убью, вот что скверно.

– Я вас умоляю, мосье Карабас-Барабас, пощадите блондину Мальвину.

– А может, и не убью. Я сам не знаю. Во мне все сейчас выгорело. Я бы очень хотел, чтобы все это называлось сумасшествие, но боюсь, я в здравом уме, в очень здравом уме.

– Вопрос как минимум спорный. Но вы меня чем-то подкупаете.

– Да честностью, чем же еще.

– Вы полагаете?

– Обычной идиотской честностью. Я рад, что вы не клюнули на духовную мистификацию. Я вам тут две цитаты умопомрачительных из Борхеса заготовил. Думал сорвать комплименты, но чувствую, что номер не пройдет... И как только этого канонизированного придурка читают! Мне хотелось еще раз убедиться, что окружающий меня мир, в том числе и ты с Борхесом, – глуп и бездарен. Понимаешь? Так легче с ним расставаться.

– Так ты что, действительно собирался в мир иной?

– Действительно. Собирался. А шесть строчек – это стишочек. Хочешь прочту?

– В авторском исполнении было бы интересней услышать, чем в «Вечернем Минске» читать в разделе мрачных происшествий. И необратимых, заметь.

– Ирония называется?

– Здоровая ирония. Читай, злоумышленник.

– Лилька, дорогая,

Я тебя любил.

Звездочки мигают.

Нету больше сил.

Сука ты, Лилька,

Подаvisь ты своей паршивой непорочностью.

Ну как?

– Написано кровью. Не шедевр, с жанрами вы... ты действительно не в ладах; но после смерти прозвучало бы. Как нечто посмертное вполне впечатляет.

– Порвать и выбросить?

– Зачем? Пусть лежит, может еще пригодится.

– Ирония?

– Здоровая. Или ты знаешь иные способы защищаться от бессмыслицы бытия?

– С некоторых пор я стал склоняться к мысли, что лучший способ – это любовь.

На следующий день Халатов неизвестно почему купил

«Вечерний Минск», который не покупал уже несколько лет, неизвестно чего испугался и почти без удивления прочел в разделе происшествий: «Вчера поздно вечером (скорее, сегодня рано утром) на скамейке возле памятника Пушкину молодоженами, совершавшими романтическую прогулку, был обнаружен труп неизвестного мужчины с характерной огнестрельной раной в висок. Судя по всему, это был несчастный самоубийца. В кармане была найдена предсмертная записка, изорванная и неизвестно кому адресованная: "Ты ничего не понял, ... она – восхитительная стерва. ... поймешь. Нету больше сил, коллега"».

«Все правильно: такие бывают многозначительными», – подумал Халатов. И презрительно выругался: «Юкио Мисима!»

Это случилось 14 июля, в субботу.

2. У врат рая

На похоронах у Вольдемара Подвижника народу было немного. Собственно, несколько человек, пересчитать которых не составило никакого труда. Здесь царило уже растерянное и тягостное молчание. Присутствующие старались не смотреть друг на друга, поэтому растянулись редкой цепью в линию, и только Халатов, отступивший назад, пристально изучал семерых человек, имевших отношение к судьбе Вольдемара. К его разочарованию, блондинки среди них не оказалось. Не было также сколько-нибудь пожилых, которых можно было принять за родителей. В основном это были ровесники Халатова и Вольдемара, люди в возрасте сорока – сорока пяти лет. Все прилично одетые. Было две дамы, которым сзади невозможно было дать более тридцати лет. Одна имела неопределенный, светло-серый, пепельный цвет волос, другая была мягкого оттенка шатенка.

Труп Вольдемара был кремирован. О церемонии можно было сказать лишь то, что она включала все необходимые ритуалы и была в высшей степени приличной. Это еще раз подтвердило давнее убеждение Халатова в том, что наше прощание с миром не имеет к нам уже никакого отношения. Точнее, смерть имеет, а вот похороны уже не имеют. Это уже не мы, это уже отношение к нам, неизвестно, насколько искреннее и полное. Лилька, виновница торжества, попросту

не явилась. По-своему искренний поступок, и все же...

У Халатова неприлично горели глаза, ему необходима была зацепка, все остальные, очевидно, собирались отрешенно скорбеть. Халатов решил атаковать шатенку – уже хотя бы потому, что она ему понравилась. Привычное внутреннее противостояние всеобщему лицемерию, переживание тех ощущений, которые на фоне общей радости или скорби всегда выглядели кощунственно, придавало уверенности. Все будут грустить, а он собирается ухаживать, да еще и вывести что-нибудь существенное о Вольдемаре. К тому же, если быть еще более честным, шатенка вела себя предельно естественно. Все остальные словно были готовы к тому, что их в любой момент могут сфотографировать или попытаться в чем-то уличить. В их поведении сквозила дань приличию и вежливости. Нет, это не были друзья Вольдемара.

Намереваясь подойти к шатенке и незаметно ускорив шаг, Халатов непостижимым образом соприкоснулся плечом с пепельной дамой (когда она успела оказаться рядом?). Она повернула лицо в его сторону, и Халатова обдало густо-васильковой лазурью. Глаза были именно распахнуты, как-то чересчур честно и наивно. Эти глаза предлагали вам играть в честность и наивность, а на самом деле и не собирались верить в эту игру. Банальная комбинация цинизма и святости, превращавшая цинизм в угрозу. В душу Халатова вползло ощущение, словно ему предстоит совершить смертельно

опасный трюк. Он быстро убедился, что его достоинства, а главное слабости открылись васильковым глазам. Помимо воли своей он жаждал, чтобы его съели. «Ядовитая бабенка», – подумал писатель.

– Здравствуйте, Лилия, – сказал Халатов.

– Я вас не знаю, – был ответ.

Халатов оценил тембр голоса паузой, которую держал дольше, чем того требовали приличия.

– Мне о вас рассказывал Вольдемар.

Имя загубленного возлюбленного не произвело на нее никакого впечатления. Она шла, не меняя темпа и предлагая Халатову оправдываться в том, что у него возник интерес к ней. Каблучки кокетливым и нескромным метрономом отстукивали время – и оно в этой ситуации было союзником Лили. «Само пространство и время начинают работать на нее. В чем дело?» – удивлялся Халатов и уже догадывался, в чем. Невероятной силы и отчетливости вожеление делали его виноватым. Его интимная сторона непонятным образом выставлялась на обозрение. Она догадывалась, что он испытывает, и молча прибирала его к рукам. Обычным охорашивающим движением кисти она убрала волосы, и в этом отточенном движении было столько неуловимой грации, что Халатов стал всеми силами разума сопротивляться наваждению. «Форма кисти и пальцев? Конечно, но не только. Как она повела ими... О, да! Но и это еще не все. Цвет. Да, удивительный, чувственный оттенок кожи. Попробуй, поборись

с такой разумом. А еще движение головы. Ну, что в нем особенного? А душу выворачивает».

– Я писатель. Владимир Халатов. Мне надо с вами поговорить.

– О чем?

– О Вольдемаре.

– Подвижник сам на себе поставил крест. Исчез предмет для разговора. Остался прах. О нем мы говорить не будем.

– Тогда о чем же?

– О чем-нибудь другом, писатель. И не здесь. Позвоните мне на неделе.

Она протянула Халатову простую визитку, на которой вензелями было выведено: Лилия Оболецова. И ниже – номер мобильного телефона.

– О Вольдемаре вам лучше поговорить с его безутешной вдовой. Да, да, с этой милой женщиной. Ее зовут Тамара Божо. Желаю успеха.

Лилька (так ее про себя сразу окрестил Халатов) улыбнулась такой улыбкой, которая ничего не обещала, но дарила смутную надежду. «Вся состоит из полутонов, возбуждающих желание. Просто на глазах превращаешься в козла», – без удовольствия признался себе Халатов, восхищенными глазами провожая Лильку до машины, где ее встречал кто-то в темных очках. «Явно моложе меня», – отметил он, привычно фиксируя чужой возраст. «А мне-то что?» – хотел было красиво закончить монолог, но криво улыбнулся.

Фальшь была в том, что его задела возраст провожатого и его манеры повелителя.

3. Еще ближе к аду

– Писатель? Это любопытно, – сказала Тамара Георгиевна Божо, постукивая пальцем по длинной тонкой сигарете.

Они сидели с Халатовым на террасе огромного, роскошного особняка, безвкусно отделанного и скроенного, одного из тех, что Халатов считал прижизненным памятником для нищих духом, которым удалось обзавестись тугим кошельком. Собственно, про себя он выражался еще более определенно: надгробие для души. Криминальная свалка. Каменный пояс из этих замкообразных коттеджей, похожих на лже– и квазиготические фурункулы, с некоторых пор туго захлестнул раздобревший Минск.

На Тамаре был летний скромный сарафан, свежее лицо было лишено косметики, каштановые волосы собраны в плотный пучок. Формально придраться к облику скорбящей, по идее, вдовы было почти невозможно. Смущало разве что ненаигранное равнодушие, смешанное с искренним оживлением.

– Вы купили это шале или построили по собственному проекту? – светски поинтересовался Халатов.

– Конечно, купили. Разве нормальные люди живут в башнях, похожих на пещеру? Здесь можно жить, только обладая незаурядным чувством юмора. Иронически жить. Как Синяя Борода какая-нибудь...

– Или Карабас-Барабас...

– Да, что-нибудь патологически тяготеющее к преступному миру.

«Будет вам детективчик! – в предвкушении потирал руки Халатов, в то время как Тамара уверенно и спокойно выстраивала фразы. – Самый интересный детектив – это история души. Это детектив для умных; все остальные детективы – для слабоумных».

– Вольдемар Подвижник – был выдающимся, в своем роде исключительным человеком, дорогой Владимир...

– Андреевич.

– Владимир Андреевич. История его жизни поучительна и занимательна. Можно сказать, в ней, как в капле океана, отражена история духовного мужания всего человечества.

«Куда хватила!» – подумал Халатов, но вслух сказал нечто иное:

– На первый взгляд, это типичная история, с типичным, то есть пошлым, извините, финалом. Боже мой! Таких историй – на каждом шагу по авоське...

– Вы ошибаетесь, мой дорогой Владимир Андреевич. Это история души человека, который был настолько сильным, что мог принять честные, железные правила игры: любовь – значит любовь, ум – значит ум, правда – значит правда, смерть – значит смерть. Это божественные правила игры. Тот, кто в состоянии придумать их и следовать им, становится Богом. Я думаю, что Богом становятся от слабости.

Халатов с интересом посмотрел на свою собеседницу. Но она, казалось, нимало не была озабочена тем, чтобы произвести на него впечатление.

– Он не умел и не желал приспособливаться, гибкость считал позорной слабостью. Бескомпромиссность – вот его жестокое кредо. И тут появились вы... Я не хочу сказать, что вы-то и убили его, но... Вы отняли у него перспективу. Вы своим умом, своим складом ума отрезвили его и убедительно доказали, что мир живет по своим, невыдуманым правилам, и ему нет дела до мотивов Подвижника. Жизнь безразлична к идеям, а Подвижник весь состоял из идей, которые он ставил выше жизни.

Браво, Халатов. Я покорена вами.

Владимир Андреевич чувствовал себя незаслуженно получившим щедрую порцию похвалы и испытывал что-то вроде неловкости.

– Вольдемар был романтик мысли, и с ним никто не мог сладить. Никто. А вы его прикончили походя, как муху. Прибили на лету. Такова правда. Не сомневаюсь, вы с нею справитесь, дорогой писатель. У вас дар принимать жизнь такой, какова она есть. С этим вас можно поздравить.

– Благодарю. Принимать поздравления только за то, что ты такой, какой ты есть, – это нечто новенькое в моей жизни. Я знавал женщин, которых мой склад ума, скорее, раздражал.

– Этим женщинам я бы порекомендовала сначала пожить

с Подвижником. После этого любой гарем показался бы им санаторно-курортным учреждением.

– Мысль интересная, но все это уже в прошлом.

– Вы разведены?

– Я разведен.

– А я вдова...

– И что вы собираетесь делать, Тамара Георгиевна? – спросил Халатов для того, чтобы не дать возможности ее двусмысленной интонации повлиять на их отношения.

– Я собираюсь доказать, что Вольдемар был не прав. Он ведь считал, повторю, что для человека культуры есть вещи поважнее жизни. Всегда были. И будут. Он воображал, что не был случайным или дурным семенем на этой земле...

– И как вы собираетесь это осуществить?

– Способом простым и элегантным. Я собираюсь очаровать вас. Если вы дадите мне шанс.

– Зачем вам не очень удачливый и малоперспективный романист, мадам?

– Вам просто не хватает музыки. Я могу стать не только вашей женой, но и музыкой. Я хочу научиться смотреть на мир вашими глазами. Я хочу увидеть небо в алмазах.

– Но вы же меня не знаете...

– Мы с Вольдемаром прочитали ваши романы. Его они добились, а меня возродили к жизни. Я вижу ваши глаза. Этого достаточно.

– Давайте посмотрим на это с другой стороны...

– Правда в том, что нет другой стороны.

– Есть, Тамара, не может не быть...

– Нет, Халатов. Другая сторона – это смерть. С этой стороны смотреть как-то не хочется.

– Поймите правильно, мадам Божо... С меня хватило одного Вольдемара. Мне необходимо взять паузу.

– Пожалуйста. Вы свободны. Можете уйти в любую минуту.

– Мне действительно пора. Прощайте. Боюсь, нам не по пути.

– До свидания, Владимир Андреич. Бокал вина на дорожку?

– Спасибо, не то настроение.

– Не спешите отказываться. Чего вы меня так боитесь?

– А я и не боюсь вас.

– А вот и напрасно, ха-ха!

– Что вы хотите этим сказать?

– Нет, нет, все правильно, не бойтесь. Я вам не Обольцова. Выпьем за дружбу. И за память Вольдемара.

– Пожалуй.

– Вино изумительное, густое, теплое. Чилийское. Вы такого еще не пили. Будете всю жизнь вспоминать. Все же мне непонятно: что вы теряете? Это ведь и ваш шанс.

– Оставим этот книжный лепет. На сегодня это чушь, подростковая, собачья и овечья.

– Как скажете...

Вино действительно оказалось нектароподобным. Тревожный рубиновый цвет плескался в большом бокале. Фимиами чародейности, злого колдовства кружил над ними, и из презрения к мистике Халатов сделал большой глоток.

А дальше начался сон наяву. Плечи его обмякли. Он не мог шевельнуть языком, и только глупая улыбка не сходила с полуоткрытых губ. Он все видел и нормально соображал, но ничего не мог делать. Волшебный паралич овладел всем его существом.

Тамара медленно раздела его. Из всех странных, плывущих ощущений одно казалось ему особенно удивительным. Все тело его тяжело оцепенело. Он не мог пальцами застегнуть пуговицу на рубашке: рука висела плетью, пальцы не хотели слушаться. Но зато в чреслах его творилось что-то невероятное. Обретя независимость и самостоятельность, член удивительно отвердел и рвался наружу. Острого желания не было; было, скорее, чувство неловкости за столь странную и непристойную реакцию.

Но Тамару, похоже, все это ничуть не смущало. Она, не снимая сарафана, энергичной и сосредоточенной наездницей овладела им, доставив легкое, искрящееся наслаждение, но не только не погасила его мужскую силу, но, напротив, освежила ее.

«Наркотики! Капут», – мелькнуло на высших этажах сознания, но даже это не стерло с расслабленного лица улыбки. Все это сопровождалось ощущением, которое много поз-

же Халатов определил как «предчувствие далеко простирающихся последствий».

– Еще глоток! – то ли предложила, то ли распорядилась Тамара, и у него не нашлось сил, чтобы отрицательно мотнуть головой.

Вино отобрало волю, но окончательно не погасило сознания. «Ведьма паршивая», – отрешенно рефлексировал Халатов, не испытывая никаких насыщенных эмоций, только догадываясь, что если бы он сейчас мог испытывать что-нибудь человеческое, то это было бы нечто подобное унижению. «Тварь болотная! Кикимора!» Он просто забыл слово «русалка». А может, оно казалось ему неуместно поэтичным.

Наутро ему остро захотелось Тамару, и ее трепетные соски взволновали его до нежности. Правда, все у него получалось грубовато, как у повелителя, уверенного в своем праве повелевать.

Когда он поинтересовался, который час, Тамара ласково ответила ему, что еще раннее утро, нет и семи. Владимир Андреевич сухо молчал.

– 24 июля 2001 года, – спокойно сообщила бесстыдно обнаженная женщина, лежащая рядом с ним.

Непостижимым образом прошло больше недели с той минуты, как он оказался у Тамары.

– Ты уверена, что мы все еще на планете Земля?

– Пока – да.

– Ничего удивительного, – тихо произнес Халатов, как бывалый космонавт. – Так и должно было случиться.

Сказанное отчего-то не понравилось Тамаре Божо.

Странно: Теперь Халатов помнил все, в деталях. Прошрое, начиная с того момента, как он сделал большой глоток вина, словно бы записалось на видеопленку отменного качества, и сейчас медленно прокручивалось, кадр за кадром, ярко и красочно представая в цветах и запахах.

Оказывается, это была безумная горько-медовая неделя. Он бешено совокуплялся с Тамарой, словно мстя ей за что-то. Потом она ласкала его волосы, нежно заглядывая в глаза. Ему было приятно, очень приятно. Потом они, к немалому его изумлению, долго и вдумчиво разговаривали, и логика Тамары стала казаться ему единственной и безупречной. Слов он не помнил, зато отлично помнил свою обескураженность перед ее жестокой правдой. Потом они вкушали что-то до того аппетитное, что при воспоминании об этом сочном мясе, к которому подавалось блюдо овощей, у него и годы спустя обильно выделялась слюна. Сна он не помнил. Зато отчетливо помнил, как все существо его охватывал приступ бесцензурной страсти, и он тут же принимал к Тамаре, которая всегда была под рукой.

На этих кадрах ему хотелось задержаться. Он предпочитал позы, которые подчеркивали ее покорность и исключали ее инициативу. И он всегда добивался того, что она начинала стонать, возбуждая его еще больше. «Милый, милый, ах,

ах», — ритмично выдыхала она, подстраиваясь под него.

Он даже вспомнил, что в тот момент, когда он любовался ее устало прикрытыми глазами и вздрагивающим от его мощных толчков телом, ему в голову пришла мысль: так овладевать бабой и при этом уважать ее — невозможно. Это два взаимоисключающих пункта. А если все же уважаешь ее — то не за то, что она баба. Уважать можно, например, за логику. Вот именно. Уважение рождается там, где начинается мысль. Природу нельзя уважать; уважают как раз за то, что кому-то удастся перестать быть природой, бабой. Человека уважают ровно настолько, насколько в нем реализуются мужские качества: умение рождать мысли. А любят человека в основном за качества женские...

Эта мысль настолько поразила его, что он попытался ее запомнить. Потом его поразило то, при каких обстоятельствах пришла к нему в голову эта глубокая мысль. Вообще за эту неделю его неоднократно сотрясала череда импульсивных прозрений, которых хватило бы на добрый десяток лет. Это знание засело, застряло в нем, отчасти вошло в его духовный состав, но достать его, закрепить и перевести в слова ему так и не удалось. До него, например, тогда же дошло (кажется, в тот момент, когда он мучительно пытался выразить словами едва уловимый запах Тамариной свежести), что роман — это игра в прятки с самим собой; удачный роман — это когда ты так спрятался, что найти себя не удалось, но со стороны видно, где замаскирована твоя убогая пещера.

До него вдруг дошло, когда он ласкал грудь Тамары, что Камю был полным кандидатом, когда ставил вопрос о самоубийстве, вопрос душераздирающих ощущений, как вопрос мысли. Ни с того ни с сего он рождал прекрасные формулировки: врать – значит брать на себя обязательство играть чужую роль; быть честным – пытаться играть самого себя... Зачатки или обрывки продуктивнейших мыслей просто роились в голове: женщина – альтернатива философии; умные люди всегда печальны, даже когда они искрятся юмором; свобода – это честность, помноженная на объективность и разделенная на... на... Хитроумные и богатые замыслы мерцали на периферии сознания.

Написать роман казалось ему делом элементарным. Один из романов почти слепился в его воображении, заманчиво высвечиваясь оптимистической перспективой. Этот роман почему-то хотелось назвать «Японский пейзаж». Халатов почти летал, распираемый духом творчества.

И он смеялся, впервые наполняясь чувством собственной гениальности.

При этом чем больше он попадал под влияние логики своей подруги, тем более свирепо истязал ее своими ласками.

Первое, что запомнилось ему после пробуждения, было чувство опустошенности и навалившееся непреодолимое желание поспать, воскресить ту сказочную реальность.

И он провалился в сон.

Второй раз Халатов проснулся совершенно обычным че-

ловеком, которого угнетало ощущение собственной заурядности. Он был раздавлен, ему казалось, что его подменили. Он с отвращением смотрел на заботливо разложенные Тама-рой по углам ручки и листы светоносно белой бумаги.

Ему нечего было сказать внимающему ему миру.

4. Теперь ближе к раю

Халатов продолжал гостить у Тамары, и в душе его укреплялось ощущение неестественности и в то же время фатальности происходящего.

Он чувствовал, что поневоле оказался втянутым в какой-то нечистый духовный эксперимент, смысл которого был еще не вполне ему ясен, но роль, ему предназначенная, никак не могла его устроить. Тамара ни в чем не ограничивала его свободу, никак не стесняла его, но день за днем и час за часом вращалась в него так, что он со страхом ощущал: если он ее бросит – Тамару может ждать финал Подвижника. Она гениально умела растворяться в другом.

Позиция Халатова – не говорить ни да, ни нет – все более и более угнетала его. «Черт знает что», – крутилось у него в мыслях, когда она подавала ему утром славно заваренный и в меру настоявшийся чай. Цейлонский среднелистовой засыпался в пол-литровый фарфоровый чайник, предварительно ошпаренный крутейшим кипятком (полторы средних размеров чайной ложки на чайник, с некоторым тонко прочувствованным недоливом), укрывался специально скроенным пушистым колпаком (роль такого колпака выполняла кошечка, забавно становящаяся беременной всякий раз, когда ее бархатистая шкурка облегалась чайник) – и минут через 8-10 вы мирно наслаждаетесь великолепным напитком. Завтрак

должен длиться не менее получаса – только тогда незамысловатая чайная церемония доставит вам удовольствие, от которого вы не сможете отказаться потом всю жизнь. При этом выпиваете все до капли, постоянно подливая в полупорожнюю чашку (размер которой – 150–200 граммов) чай, вкус которого становится все более крепко выраженным.

С бутербродами проще. Поджариваете в тостере два-три ломтика (не очень толстых) пышного батона, испеченного из твердых сортов пшеницы, масло (не маргарин, боже вас упаси, и без растительных добавок), сыр сычужный типа «Российский», сырокопченая колбаска на коньяке «Советская», мед или, на худой конец, джем с кислинкой. Вот, пожалуй, и все.

Строго говоря, Халатов не рассматривал свой рецепт маленького утреннего счастья как универсальный, как, скажем, пробежку или вегетарианскую диету, и ему явно не доставало глупости и самоуверенности, чтобы рекомендовать его абсолютно всем с чистым сердцем, однако его не слишком элитный цейлонский вызывал неизменный восторг у редких друзей и случавшихся подруг, среди которых Халатовский чай пользовался репутацией неподражаемого. Хозяин пожимал плечами и считал про себя, что весь секрет заварки чая в том лишь и состоит, чтобы вложить в процесс немного души. А душа в данном случае имеет вполне материальные параметры: это исключительное внимание к скрупулезным технологическим мелочам.

Какая разница, казалось бы, обдали вы крутым кипятком фарфор или нет? Если тщательно обдали – чай «задышит», если нет – будете наслаждаться бурого цвета пойлом, как в лучших домах.

Полторы ложки или чуть больше?

Большая чайная ложка или маленькая?

Разница ощутимая. Вкус на выходе не тот. Не тот – и все. Маленькое утреннее счастье, как и счастье вообще, – это вопрос ощущений.

Каково же было изумление Халатова, когда вдова Подвижника, пившего по утрам исключительно крепкий кофе и помешанного на яйцах всмятку (умело сварить которые – тоже целая наука), освоила его «неподражаемое» искусство за два-три сеанса, ни о чем ни спрашивая и ничего не уточняя, просто внимательно наблюдая за неторопливыми манипуляциями Владимира Андреевича. Переселение душ, да и только.

Халатов пил свой чай с бутербродами и тоскливо думал о том, что ему предлагали, по всей вероятности, на выбор две роли: благодетеля, великодушного и многотерпеливого, или палача. Быть лучше, чем ты есть, или быть собой. Даже еще проще: жертвы или палача. Чья-то проблема странным образом трансформировалась в проблему Халатова: оставаться самим собой (что означало *de facto* исполнить функции палача) или превратиться в жертву, бездарно издохнуть самому. «Черт знает что», – стонало в душе, пока он прихле-

бывал свой бесподобный чай, безупречно заваренный пала-
чом Тамарой. Его интимнейший продукт перестал быть его,
он все делил с этой женщиной, которая готова была умереть
ради него – или без него.

Халатов, как все те из людей, кому от природы дано было
горькое счастье с годами совершенствоваться, то есть уметь
обходиться без иллюзий и не становиться при этом подлее, –
Халатов знал уже, что назначение всех пышных фраз на зем-
ле – скрывать пустоту или глупость. А от безобидной глупо-
сти до иезуитской подлости – рукой подать. Вот гуляет по
миру чьей-то, якобы, легкой рукой пущенное: лучше уме-
реть стоя, чем жить на коленях. И все вокруг готовы просле-
зиться.

Утрите слезы умиления, господа, и вдумайтесь: для чело-
века с достоинством здесь нет выбора. Это ложная альтерна-
тива. Тот, кто привык жить стоя, с высоко поднятой головой,
просто не может жить на коленях; а тот, кто может жить на
коленях, просто никогда не жил в полный рост.

Осушите сопли и примите реальность такой, какая она
есть. «Лучше жить с Тамарой, чем позволить ей угаснуть без
меня». Ничего себе императивчик. Хороша шутка. Или я –
или она. Позвольте: но с чего вы взяли, что ей не жить без
меня? И что я, навоз какой-нибудь, чтобы мною удобрять
почву, на которой должны выживать какие-то другие?

«К черту!» – девизом высекалось у него в мозгу. Выживет
и без меня, а я никогда не был и не собираюсь становиться

добрым навозом! Бросаю все и ухожу ко всем чертям. По крайней мере, готов уйти. Вон из избы!

Стоп, коллега. Но однажды ты уже бросил трубку. И я не уверен, что это было сделано слишком удачно. Не навреди.

И круг замыкался.

Честно говоря, и это была еще не вся правда. Подленькая сторона правды заключалась в том, что и уходить-то не очень хотелось. Он мало ценил Тамару по одной-единственной причине, если уж на то пошло: она была всегда под рукой. Алмазы, которых много, перестают быть сокровищем; нежность и заботу перестаешь ценить, если они постоянно окружают тебя. С Тамарой было хорошо. Но душа томила по чему-то другому.

Ладно, мы, люди чести и совести, воспользуемся средством слабых, которого, впрочем, не чужаются и мудрые: пойдем на компромисс. На разумный компромисс, допустимый в границах здравого смысла. Я не Подвижник. Я остаюсь.

Но!

Не спешите радоваться. Но, говорю я, остаюсь на время, господа. Только на время. Это мое последнее слово. На сегодня – последнее.

Глядя на свежее, тез тени морщин лицо Тамары, Халатов терзался мыслью, что вся его копеечная внутренняя борьба – открытая книга для ее наблюдательных очей. Сам факт борьбы – выгоден для Тамары, и временный компромисс –

выгоден для нее. Это ее победа и его поражение. Клиент созревает, доходит, не так ли, клиент?

И еще его мучила грязненькая мысль, что ее позицию по отношению к себе он истолковывает как заведомо подлую, коварную и предельно опасную для него. Он ни на секунду не допускал простую мысль, что она, живя его бытовыми и душевными потребностями, может жить и его жизненно важными интересами.

Получалось, что его интересы – не в ее интересах. Получалось, что она – враг его, однако она была – хоть к ране прикладывай.

Вот почему утреннее чаепитие завершалось благодарным и немного лицемерным поцелуем: это была и форма извинения за свою, мнилось, оскорбительную недоверчивость.

Может быть, все было еще проще: обретя достаток и покой, Халатов потерял себя. Он никак не мог привыкнуть к новой для него каторге: ничего не ждать от жизни.

Может быть, и так.

Кто знает?

5. Гектор Соломка приступает к делу

Однажды нежарким августовским утром в Тамарину крепость, служившую ей домом, позвонил странного, прямо сказать, подозрительного вида мужчина средних лет в клетчатой кепчонке, делавшей его похожим то ли на преступника, то ли на детектива. У него было настолько простодушное лицо, что людям, мало-мальски знакомым с жизнью, невольно закрадывалась в душу мысль: «Э-э, ну и хитрющая же ты bestия, братец!» Впрочем, многие принимали эту простоту за чистую монету.

– Одну секундочку! – заверещал незнакомец в кепке, привлекая внимание свежей молодой женщины без косметики на лице, в которой читатель без особого труда узнал бы хозяйку дома. В ее взгляде и осанке присутствовала та ненаигранная уверенность, которая отличает состоявшихся в жизни людей, а также людей отчаявшихся. Неторопливой походкой, которой нельзя было не залюбоваться, она подошла к прочной решетчатой калитке и вежливо сделала внимательное лицо.

– Гектор Аристархович Соломка, – интимно представился мужчина, приподнимая кепку жестом, которым обычно снимают шляпы голливудские джентльмены и, еще более пони-

жив голос, добавил:

– По особо важным делам, следовательно.

Правая рука его нырнула во внутренний карман кожаной курточки и замерла, ожидая, понадобится ли соответствующий документ. Тамара повела бровями – и рука взлетела у нее на уровне глаз. Бордовая книжица щелкнула и скрылась в ладони. Все было исполнено очень эффектно и могло обескуражить кого угодно. Во всяком случае, самому Гектору Соломке весьма понравилось начало знакомства с дамой, которую хотелось ощупывать взглядом.

– Честно говоря, я ничего не разобрала. Но это неважно. Проходите в покои. Можно на террасу, если не боитесь свежести.

– Крохотную секундочку! – заинтонировал Гектор. – Потеря бдительности – это уже почти преступление. Я показываю удостоверение еще раз, – протянул он тоном магистра черной магии.

– Уверяю вас, в этом нет необходимости. Вы ведь по делу, гм, да, по делу Подвижника, не так ли? Ну, разумеется. Я – Тамара Божо. Чем могу быть полезна? Зачем я вам нужна? Присаживайтесь.

– Вы вдова? – уточнил Гектор, закидывая ногу на ногу и располагаясь в плетеном кресле.

– В каком-то смысле. Мы не были женаты. Точнее, мы не регистрировали наш брак.

– Понимаю, – многозначительно обронил Соломка, прон-

зая даму взглядом. – Ваш брак был гражданским.

– Вот именно.

У Гектора Соломки было круглое кошачье лицо с усами несколько длинноватыми для его жесткой щетины. Усы непримиримо торчали, придавая физиономии воинственный и одновременно, увы, глуповатый вид. Гектор пытался смотреть на собеседника сверху вниз, что при его скромном росте было весьма непросто. «Одну секундочку!» – двигал ощетинившимися усами «важняк» Соломка, откидывая голову назад и округляя глаза. Собеседник словно бы съежился, и Гектор получал необходимое психологическое, и даже физическое превосходство. Наполеонистая осанка полнеющей фигуры вкупе с уверенным выражением кошачьего лица были главным козырем детектива. Он считал, что, будто громовержец, пронзает своего визави испепеляющим взором и не давал тому ни единого шанса сокрыть хотя бы тень правды. Он был убежден, что все читает на лицах шельмецов и прохиндеев, хотя читал почему-то всегда одно и то же: виноватую улыбку и опущенные, скрывающие что-то глубоко личное глаза. Короче, у мошенников бывало такое выражение, какое набегало на физиономию самого Соломки, когда он пытался заговорить с понравившимися ему женщинами, не находящимися под следствием и вполне невиновными.

Вот и сейчас улыбка явно смягчала взор, но тут на террасу явился Халатов в шлепанцах и с яблоком в руке.

– Одну секундочку! – насторожился Соломка, и за этим

последовала минутная пауза. Он, очевидно, состоял из противоречий и давал понять, что вовсе не так прост, каким хотел казаться.

– Добрый день, – вяло отреагировал Халатов, стараясь понять и ощутить, что же вкладывают поэты в смутную метафору «осенью повеяло». – Уж реже солнышко блистало, вы не находите?

– Вы кто? – перехватил инициативу Соломка, откидывая голову, и рука его потянулась во внутренний карман. Халатов не глядя ткнул указательным пальцем в сторону Тамары, словно произвел беззвучный выстрел. Гектор перевел на нее глаза.

– Пока мы не расписаны, – сказала она, явно любуясь своим сожителем. – Владимир Андреич Халатов, писатель.

– Который отчего-то перестал писать... – невежливо, жуя яблоко, сообщил Халатов.

– Майор Соломка, – также неучтиво пробурчал детектив и, не дав опомниться, четко с расстановками произнес:

– В деле вскрылись новые обстоятельства.

И хлопнул ладонью по столу.

В возникшей паузе было слышно лишь, как с треском надкусывает яблоко писатель. Соломка встал, прошелся к перилам террасы и, стоя спиной к незарегистрированной паре, доложил:

– Показания, которые вы, Тамара Георгиевна, в свое время дали капитану Волчкову Ж.Д., следователю Московско-

го РОВД столицы Беларуси, оказались неполными. Одну секундочку: а может, и неверными.

Тут Соломка, словно матадор, лихо развернулся через левое плечо и округлил глаза.

– Вот как, – лениво произнес Халатов. – Что же там случилось: Подвижник промахнулся или убили вовсе не его? Что это за новые обстоятельства, позвольте полюбопытствовать?

Соломка максимально закинул голову назад и произнес поучительным тоном на манер «лошадь должна кушать свое сено», напоминающим тон ректора милицейской Академии:

– Писатель должен писать, а не рассуждать. Раскрыть преступление – это вам не историю души выдумывать. Тут факты, а не вымысел, решают все. Факты – чрезвычайно упрямая вещь. Исключительно упрямая, упрямее логики и веселее остроумия, – напирал Гектор.

– Какие, к лешему, факты? – тоном, уважающим работу следователя по особо важным делам, спросил Халатов. – Мы просто обескуражены, майор. Легкий шок, знаете ли.

– Факты таковы. Одну секундочку! (Минутная пауза.) В ночь, когда произошло, гм-гм, са-мо-у-бий-ство, а именно: в ночь с 13 на 14 июля 2001 года, последним человеком, видевшим покойного гражданина Подвижника, была... были вы, Тамара Георгиевна.

– С чего это вы взяли, Гектор Аристархович?

– Факты-с. Показания свидетельницы.

– А именно?

– Гражданки Обольцовой Лилии... запамятовал отчество, проходящей также свидетельницей по делу об убийстве гражданина Греции Левона Бабаяна. Лилия Андреевна, 1976 года рождения. Рост...

– И что эта гражданка показала?

– В ночь, когда произошло, гм-гм, са-мо-у-бий-ство, а именно...

– Гектор Аристархович!

– Точность в деталях превыше всего. Издержки профессионализма... Подвижник был у Обольцовой в этот злополучный вечер. Потом ушел. И его встретили вы, гражданка Божо!

– ???

– Обольцова видела, как вы его встретили на неосвещенной стороне улицы.

– Сторона ведь была не-ос-ве-щен-ная...

– Вы схватили гражданина Подвижника за рукав, а он, цитирую по памяти, «вышвырнул ее на свет и опять затащил в темень». Обольцова вас узнала. Она видела вас. Потом, вы, Тамара Георгиевна, удалились вместе с Подвижником, ныне покойным, быстрыми шагами. В направлении Троицкого предместья.

– Какой ужас... Вы просто ледените мне душу. Ну и что?

– В показаниях, записанных с ваших слов капитаном Волчковым Ж.Д., сказано, что вы весь вечер были у подру-

ги...

– Я и была у подруги. У подруги покойного Подвижника ныне здравствующей Обольцовой, опознавшей меня в тот злополучный вечер.

– Одну неторопливую секундочку! Тут указана другая подруга...

– Гектор Аристархович! Гражданин Соломка! Отважный следователь! Это все невнятные опечатки. Разве могут они изменить суть дела? Разве вернут они Подвижника? Нет, не вернут они нам Вольдемара. К чему теперь рыдания?

– Но это еще не все упрямые факты.

Соломка определенно преуспел в искусстве привлекать к себе внимание. Его выпученные глаза и ошетилившиеся усы буквально заворожили Халатова с Тамарой. Они напряженно ждали сенсации.

– Об остальном мы поговорим в другой раз. И в другом месте, Тамара Георгиевна. Жду вас к себе в гости, в мой кабинет, так сказать, с ответным визитом. Одну секундочку! Моя визитка. Завтра к десяти, будьте любезны. Всего наилучшего. Творческого, кипучего вдохновения, господин прозаик.

Походка и осанка майора не оставляли никакого сомнения в том, за кем осталось поле боя после первого раунда.

Тамара с Халатовым переглянулись. Что ожидало их завтра?

Кто знает.

6. Лилька, дорогая...

Дважды приятный женский голос вежливо отвечал, что абонент временно недоступен, а в третий раз еще более впечатляющий грудной тембр произнес чудную фразу:

– Я вас слушаю.

У Халатова пересохло во рту, он замялся с ответом, и его поторопили:

– Алло-о! – Вежливо и мелодично.

– Добрый день, Лилия Андреевна!

– Так меня называет только Гектор Соломка. Вы мне от него привет хотите передать?

– Не совсем. Это Владимир Халатов.

– И что же? Мне ваше имя ни о чем не говорит.

– Да, да, я понимаю. Я писатель, подходил к вам на кладбище... Помните?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.